

ПОД НАМИ НЕТ АДА



ГЕРМАН КЛИМОВ

РОМАН В СЕМИ ЧАСТЯХ

Климов Герман
Под нами нет ада

«Автор»

2026

Герман К. Е.

Под нами нет ада / К. Е. Герман — «Автор», 2026

Альтернативный СССР, недалёкое будущее. Страна научилась делать то, о чём человечество только могло мечтать: смерть перестала быть концом. Каждого сканируют до последнего нейрона — и отправляют в цифровую вечность. Достойных — в рай. Виновных — в ад. Причём ад у каждого свой: машина находит то, что человек любил или чего боялся больше всего, и строит среду именно из этого. Что из этого выйдет? Семь судеб на разных этажах одной машины — и тонкая нить, что тянется сквозь все истории к финалу, которого не ждёшь. Что страшнее: ад, полный огня, — или тот, который ты построил сам, своими руками, из того, что любил больше всего?

© Герман К. Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1	5
Часть 2	20
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Климов Герман

Под нами нет ада

Часть 1

Сойду ли в преисподнюю — и там Ты.

Псалтирь, 138: 8

«34-Й ГОД»

«Я дал им бога. Настоящего. Которого можно потрогать».

— академик Л. Городецкий

Глава 1

ЯНВАРЬ

Очередь начиналась у заколоченного кинотеатра «Прогресс», извивалась змеёй вдоль улицы и пропадала за углом, у бывшего детского сада. Те, кто стоял в хвосте, головы этой змеи уже не видели. Те, кто стоял в начале, давно перестали оборачиваться.

Над очередью висели три дрона. Они не охраняли. Они считали. Каждые сорок секунд один опускался ниже, проводил камерой по лицам и снова уходил вверх. Это называлось «обеспечение порядка распределения». Раньше, до восемнадцатого года, людей считали люди. Теперь эту работу, как и почти всякую другую, взяли на себя машины.

Маша Серова стояла шестьсот двенадцатой. Знала точно: считала с той минуты, как встала в хвост, ещё затемно. Сейчас было десять, солнце наконец перевалило через крышу панельной девятиэтажки напротив, но теплее не стало. Маше было тридцать четыре. Со вчерашнего обеда она ничего не ела.

— Слыхали, новый закон? — сказал кто-то впереди. Старуха в платке, лица не разобрать. — Возьмёшь больше двух буханок — пятнадцать суток.

— Так и было, — отозвался мужской голос сбоку.

— Не было. Раньше десять.

Мужчина спорить не стал. Сказал только, что когда-то за это брали штраф и что он этот штраф ещё застал и платил. Старуха промолчала. Очередь не любила тех, кто помнит, как было раньше.

Маша молчала тоже. Молчать она научилась давно. Молчишь — тебя не замечают; не замечают — не запоминают; а кого не запомнили, тот живёт дольше. Этому в школе не учили, но это знал всякий, кто дожил до её лет. Правда, с машинами оно уже не спасало: на утренней ободряющей речи вождя камера ловила каждый жест, каждую трещинку на лице.

Очередь двинулась на полшага. Маша двинулась с ней.

* * *

Лев Городецкий ехал по Тверской на чёрной «Чайке», мимо этой очереди и ещё двух таких же. Сидел сзади справа, смотрел в окно. Стекло было тонированное: снаружи его не видели, изнутри он видел всё.

Шофёр, молодой, в форме без знаков отличия, молчал. Хороший был шофёр. Его прикрепили к академику три года назад, и за три года он не сказал ни одного лишнего слова. Это качество Городецкий ценил выше прочих. Хороший шофёр — это шофёр, которого как будто нет.

У «Прогресса» он прикинул очередь на глаз. Человек семьсот. Цифра вышла, наверное, точная: оценивать обстановку быстро и без ошибки он умел всегда и тихо этим гордился.

Машина свернула на Бульварное, и очереди кончились. В центре их не было. Москва две тысячи тридцать четвёртого года в центре города выглядела почти как в восьмом: те же кафе, витрины, чистые тротуары. Только людей меньше. И те, что были, шли быстро, не глядя по сторонам, будто опаздывали.

— Лев Аркадьевич, — сказал шофёр. Первые его слова за полчаса. — Вам звонок.

Городецкий взял трубку. Внутренний канал, защищённый. По нему звонили трое.

— Слушаю.

— Лебедев. Объект готов. Можно начинать в любое время.

— В двенадцать.

Трубку он положил и снова повернулся к окну. «Чайка» шла мимо памятника Гоголю. Снег у постамента никто не убирал — дворников в городе не было уже шесть лет, — и Гоголь стоял в сугробе по колено, как пьяница, которого не довели до дома.

Через два часа у него будет первый человек. Не крыса с электродами, не математическая модель, не симулятор. Человек. Через два часа он станет богом.

Мысль не принесла ничего. Ни радости, ни тяжести. Радость Городецкий перестал чувствовать одиннадцать лет назад, когда хоронил Раю. После Раи остались цифры, и цифры были честнее людей. Цифры никогда не врут.

* * *

Свою буханку Маша получила в одиннадцать сорок. Хлеб был тёплый, чуть влажный: значит, завезли только что, значит, к завтрашнему утру его не останется. Завтра она опять встанет в четыре и опять будет надеяться, что достанется хотя бы половина — пусть промёрзшая, пусть твёрдая.

Она сунула буханку под пальто, прижала к рёбрам и пошла домой. Двадцать минут ходьбы, если идти быстро. Маша шла медленно. Быстро не выходило: от голода кружилась голова, и весь путь её преследовала одна мысль — отломить кусок прямо сейчас. На улице нельзя. На улице за это могут и убить.

На углу, у остановки, сидел мальчик. Лет восьми, без шапки. Маша остановилась — и сразу поняла, что зря. Остановившись было нельзя.

Мальчик поднял на неё глаза. В глазах не было ничего: ни просьбы, ни страха, ни надежды. Ровная, спокойная пустота — такая редко бывает у ребёнка, у которого глаза должны быть полны выдумок. Этот уже всё про себя понял.

Маша достала буханку, разломила и протянула ему половину.

— Спасибо, — сказал мальчик.

Она пошла дальше. До дома пятнадцать минут. Знала, что половины не хватит до завтра. Знала, что в четыре утра снова встанет в очередь. Знала, что мальчик свою половину доест ещё до темноты. Всё она знала. Но если перестать делить хлеб с мальчишками без шапок, то непонятно, ради чего вообще стоять в очереди и зачем дальше жить.

* * *

В двенадцать ноль три Лев Городецкий вошёл в Институт номер семнадцать.

Полностью институт назывался «Научно-исследовательский институт прикладной нейробиологии имени Бехтерева» и стоял в двенадцати километрах от центра, в закрытом посёлке Чкаловский. Посёлок закрыли для въезда ещё в сорок восьмом году прошлого века — тогда тут делали ракеты. Теперь профиль был другой.

Городецкий прошёл четыре поста. На каждом его узнавали и на каждом всё равно проверяли по полной. Так и надо, считал он. Протокол — это то, что отделяло их от хаоса снаружи.

В подвале корпуса «Б» его ждал Лебедев: заместитель, инженер, человек средних лет, на лице которого не задерживался взгляд. Городецкий знал его двадцать два года и до сих пор не смог бы описать это лицо по памяти.

— Где он?

— Блок три. Готов. — Лебедев протянул папку.

Внутри лежал один лист. Аркадий Степанович Воронин, родился девятнадцатого мая две тысячи второго года, осуждён за умышленное убийство двух лиц, статья сто пятая, часть вторая. Высшая мера. Исполнение отложено в связи с прикомандированием к программе «Архив».

«Архив» — так это называли в бумагах. Имя досталось по наследству от помещения; придумывать что-нибудь погромче никому в голову не пришло. Слово и так хорошо описывало то, чем они занимались: складывали людей на хранение.

— Сколько ему?

— Тридцать два.

— Кого именно убил?

Лебедев пожал плечами.

— Какая разница?

Городецкий поднял на него глаза. Лебедев взгляда не отвёл, но и не выдержал — посмотрел чуть в сторону, за плечо.

— Разница есть. Когда-нибудь, через много лет, кто-нибудь спросит: а кто был первый? И я должен буду знать ответ.

— Жену и её любовника. Застал вместе, зарубил топором. Не отпирался, во всём сознался.

Городецкий кивнул. Для приговора это значения не имело. Для него — имело.

* * *

Блок три был длинной комнатой без окон, с белыми стенами и потолком из матовых квадратных панелей. В центре стояла капсула, похожая на старый томограф, только крупнее и в проводах. Кабелей шли десятки; они уходили в стены, в пол, в технические люки.

В капсуле лежал человек.

Городецкий подошёл, посмотрел сверху. Воронин был худой: за два месяца изолятора потерял килограммов пятнадцать. Лицо обычное. Не злое, не доброе. Лицо человека, который смотрит в потолок и думает о своём.

— Аркадий Степанович. Вам объяснили, что будет?

— Объяснили. — Воронин не повернул головы.

— Вопросы есть?

Воронин подумал и спросил одно: будет ли больно. Городецкий помолчал. После крыс, после собак, после четверых человек с частичным переносом он привык, что спрашивают всегда об этом. Не «что я там увижу». Не «останусь ли я собой». Только про боль. Что-то важное про людей в этом было, но он пока не понимал что.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Думаю, нет.

— Тогда давайте.

Глава 2

ИНСТИТУТ №17

Институт построили в шестьдесят восьмом. Сначала делали психотропные препараты для армии: после Праги, когда стало ясно, что следующую войну Союзу без новых средств не выиграть. В восьмидесятые занялись «феноменом сознания» — так это называлось в отчётах. На практике это значило, что в подвалах корпуса «А» сидели заключённые, им подключали электроды, показывали картинки и записывали, что они видят. В девяносто первом институт

чуть не закрыли. Спас его внук того самого Бехтерева, чьё имя на табличке: написал наверх, что весь мир вкладывается в нейронауки и закрывать такое всё равно что в шестидесятые остановить ракетный завод. Денег дали мало. Но институт оставили.

Городецкий пришёл сюда в две тысячи одиннадцатом, тридцати семи лет, кандидатом наук. Взяли младшим научным сотрудником: в стране был кризис, а у него двое детей. Дальше он не любил вспоминать по годам. Помнил иначе, кусками.

Помнил столовую, где впервые увидел Раю. Она работала в архиве, носила обед к окну, садилась одна. Очень светлые глаза. Поженились через четыре месяца. Родились двое детей, Митя и Соня. Митя теперь жил в Сибири, работал инженером, не звонил. Соня умерла в две тысячи восемнадцатом, шести лет, от менингита, потому что одиннадцатая больница в тот вечер не приняла — не было мест.

Рая пережила дочь на пять лет. Не болела. Просто перестала есть. Городецкий приходил с работы, ставил перед ней тарелку; Рая благодарила и тарелку отодвигала. Он отвозил её в больницу, её обследовали, лечили, она оживала на неделю, потом снова не ела. Так четыре месяца. В последний вечер он сел рядом, поддел вилкой картофелину и поднёс к её рту, как ребёнку. Рая посмотрела на него и сказала: «Лёва, не надо. Я не голодная. Я просто не хочу». Он не нашёлся что ответить. Утром её не стало.

После Раи Городецкий перестал спать больше четырёх часов в сутки и начал плотно работать над проектом «Архив».

* * *

Идею он украл. Этого он не рассказывал никому. В девятнадцатом году американец Ричард Конор напечатал в журнале «Нейрон» статью про «сохранение нейронного паттерна вне биологического носителя». Конора подняли на смех: одни рассуждения, ни одного опыта. Через два года Конор умер от рака, и о статье забыли все, кроме Городецкого.

Городецкий понял то, чего не поняли рецензенты: американец писал не про технологию, а про философию. Сознание — не вещество. Сознание — узор. А узор можно снять с одного носителя и положить на другой, если сумеешь его прочесть.

Прочесть узор. На это ушло двенадцать лет.

За эти годы в институте сменилось четыре директора; Городецкий был последним из тех, кто стоял у истоков. Из первой команды осталось семеро. Кто ушёл в коммерцию, кто уехал за границу, кто умер. Один повесился. Нечаев, в двадцать восьмом, после того как они потеряли первого. Тогда впервые попробовали перенести человека целиком, и человек не выдержал: узор рассыпался на середине, как мокрая бумага. Протокол того опыта писал Нечаев. Через неделю его нашли в гараже. Мягкий был человек, не выдержал.

После Нечаева полный перенос не трогали три года. Работали по краю: четверым добровольцам сняли по фрагменту — память, моторику, кусок речи, — и фрагменты жили в машине минутами, потом гасли. Целиком, устойчиво, навсегда не выходило ни у кого.

О Нечаеве Городецкий думал чаще, чем хотел.

* * *

Команда «Архива» сидела в трёх корпусах. В «А» — программисты, двенадцать человек во главе с Лебедевым; они писали код, который читал узор, и этот код был самой охраняемой тайной института, потому что был, по сути, инструкцией, как разобрать человека на части. В «Б» — инженеры: капсула, сканеры. Серверная в подвале «В» занимала три тысячи с лишним квадратных метров, больше главного зала Третьяковки, и её всё покупали и покупали.

Там же, в «В», сидели философы. Об этом за стенами института не знал никто. Городецкий сам настоял: четверо, по этике, теологии, феноменологии и, как он говорил, «по душе». Платили им хорошо. Требовали одного: думать не о том, как команда делает машину, а о том, что она делает.

Старшим у них был Каплан, на двадцать лет старше Городецкого, и единственный его не боялся. Говорил неприятное. Как-то года три назад, когда уже стало ясно, что «Архив» работает, Каплан зашёл к нему без стука, сел и долго молчал.

— Лев, ты понимаешь, что ты делаешь?

— Понимаю.

— Нет. — Каплан смотрел в стол. — Ты делаешь не машину для записи сознания. Ты делаешь машину, которая лишает смерть смысла.

— Это плохо?

— Плохо. Заодно она лишает смысла и жизнь.

Городецкий спросил, что ему теперь делать. Каплан поднял глаза и подумал, прежде чем ответить.

— Молиться, Лев. Если умеешь.

Городецкий не умел.

* * *

Два способа справиться с хаосом в стране обсуждали в правительстве с двадцать восьмого года. Старый: больше полиции, тюрем, камер, дронов. Он не работал. Полицейские с нищенской зарплаты продавали бандитам материалы следствия, начальники тюрем сдавали заключённых в аренду на нелегальные работы, дроны падали и шли на запчасти. Держать систему в чистоте было невозможно — на это не хватало денег.

Новый способ придумал министр внутренних дел Юрий Соснин. На закрытом Совете безопасности в двадцать восьмом он сказал, что беда не в том, что люди нарушают закон, а в том, что они не верят в неизбежность наказания. Верили бы — не нарушали. Не из страха. Из понимания, что нарушать бессмысленно.

— Раньше у людей был Бог, — сказал Соснин. — Бог видел всё и каждому воздавал. Тысячу лет работало. Пока верили. Сейчас не верят.

— Сейчас не верят, — повторил кто-то с другого конца стола.

— Значит, нужен новый. Технический.

В зале засмеялись. Соснин подождал, пока отсмеются.

— Я серьёзно. Научимся гарантировать наказание — настоящее, видимое, такое, от которого не уйти, — и преступность кончится за одно поколение.

Среди присутствующих был помощник генерального секретаря. Через две недели Городецкого вызвали в Кремль. Через месяц финансирование «Архива» выросло в восемьдесят раз.

Глава 3

АРКАДИЙ

Аркадий Воронин убил жену третьего сентября две тысячи тридцать третьего года, в двадцать два сорок, в квартире на улице Гагарина в Электростали. Так в протоколе. На деле было иначе.

Воронин работал сварщиком шестого разряда на заводе — одном из немногих в городе, что ещё дышал. Платили мало, но стабильно: хватало на еду и квартплату. Жена, Лера, не работала с тех пор, как родился сын. Сыну теперь было четыре. До декрета Лера была библиотекарь, а библиотеки в городе позакрывали одну за другой: первую в двадцать пятом, вторую в двадцать седьмом, детскую — в тридцать первом. Лера сидела дома, и Воронин видел, как она день за днём превращается в кого-то, кого он не знает.

Третьего сентября он вернулся со смены раньше: мастер отпустил, пожалел — Воронин от постоянных переработок еле на ногах держался. Открыл дверь и услышал в спальне голоса. Дальше всё было в протоколе. Воронин вошёл, увидел жену с соседом по площадке, Виктором Павловым, — тоже сварщик, тоже с того же завода, тоже неплохой мужик. Не закричал. Не

ударил сразу. Развернулся, вышел из комнаты, взял с балкона топор, которым недавно откалывал нависший над подъездом лед, и вернулся. Сначала Павлов. Потом Лера.

Потом сел на кухне, сам позвонил в милицию и стал ждать.

Сын в тот вечер был у бабушки.

* * *

Судили в декабре. Адвокат был государственный, молодой, напуганный. Воронин защите не помогал: на вопросы отвечал «да», «нет», «не помню». Вины не отрицал, снисхождения не просил. Сидел, смотрел на свои руки и поднимал глаза, только когда слышал что-то, чего не ждал.

Один раз его удивило слово «расстрел». Прокурор требовала высшей меры; Воронин поднял голову, посмотрел на неё и кивнул, будто соглашаясь. Прокурор сбилась и потеряла строчку.

Расстрел в Союзе вернули в двадцать втором, как меру «исключительной общественной необходимости». До тридцать третьего расстреляли восемнадцать человек. Воронин шёл девятнадцатым. Приговор объявили в пятницу, в середине декабря; его увезли в специзолятор Бутырки, где держали смертников, и он стал ждать. Ждал почти полтора месяца.

* * *

Двадцатого января к нему в камеру вошли двое. Один в форме, полковник службы исполнения наказаний; этого Воронин не знал. Второй в штатском: серый костюм, серое лицо, серые глаза. Если бы Воронина потом попросили его описать, он сказал бы просто: серый амбал.

— Аркадий Степанович. Лебедев. Я из научной программы при министерстве. У меня к вам предложение.

Воронин слушал, не двигаясь.

— Приговор приведут в исполнение на днях. Это окончательно. Но мы предлагаем участие в эксперименте. Сразу скажу: приговор он не отменит. Он его отсчитит. Может быть, надолго.

— Что делать?

— Лежать. В особой камере, без сознания, около двенадцати часов. И всё.

— А после?

Лебедев секунду молчал.

— После посмотрим.

Воронин долго не отвечал. Потом сказал, что согласен. Лебедев спросил, не хочет ли он подумать или хотя бы узнать, что именно с ним будут делать. Воронин чуть улыбнулся, впервые за пять месяцев, и спросил: зачем?

Через четыре дня его перевели в институт.

* * *

Аркадий Воронин не был ни героем, ни мучеником, ни жертвой системы. Обычный сварщик, который убил жену и её любовника и согласился стать первым, потому что ему было всё равно, что с ним будет дальше. Именно это «всё равно» и делало его идеальным.

*Лебедев потом отчитывался: «Объект устойчиво равнодушен к собственной судьбе. Реакции на стресс нет. **Идеален для первого переноса». Городецкий не стал уточнять, что значит «идеален».*

Глава 4

ПЕРЕНОС

В двенадцать тридцать пять Аркадия Воронина усыпили: капельница, стандартная смесь, доза по весу. Уснул он быстро. Городецкий смотрел из соседней комнаты через стекло. Рядом стояли Лебедев и двое инженеров: Симакова, двадцати девяти лет, пришла из МГУ три года назад, и Гольцев, пятидесяти двух, работавший с Городецким с самого начала.

— Контакт, — сказал Гольцев.

На главном экране проступила сетка зон активности — разноцветная, пульсирующая. Обычное сканирование, такое делает любая приличная клиника.

— Калибровка.

Вот это было уже не обычное. Сорок минут алгоритм подстраивался под узор Воронина. Каждый узор уникален, как отпечаток, только в миллион раз сложнее.

Городецкий смотрел на экран и не отвлекался. Симакова постукивала пальцами по столу. Лебедев маленькими глотками пил воду из пластиковой бутылки. Сорок минут, думал Городецкий. Сорок минут — и он узнает, был ли прав Конор. Был ли прав он сам. Двенадцать лет.

На тринадцатой минуте экран мигнул ошибкой. Все четверо подались вперед.

— Аномалия в зоне семнадцать-бета, — сказала Симакова. — Шум выше расчётного.

— Компенсация?

— Идёт. Через сорок секунд узнаем.

Сорок секунд тянулись долго. Городецкий поймал себя на том, что считает удары сердца. Сорок четыре. Быстрее обычного.

— Компенсировано. Калибровка продолжается.

Симакова выдохнула. Лебедев сделал ещё глоток.

* * *

В тринадцать пятнадцать калибровка кончилась.

— Готовы к переносу, Лев Аркадьевич.

За стеклом Воронин лежал неподвижно, ровно дышал. Обычный спящий человек. Только проводов слишком много.

— Начинайте.

Гольцев нажал кнопку. На экране поползла слева направо полоса — индикатор переноса.

Полоса была иллюзией. Никакого переноса в физическом смысле не шло: узор Воронина читали и копировали в цифровую среду. Оригинал, мозг в капсуле, оставался на месте, живой. Копия писалась на серверы в подвале «В». Так было в теории. На практике не знал никто.

Городецкий не любил корабль Тесея — старую философскую шутку про доски, которые меняют одну за другой, с вопросом «на какой доске это перестанет быть кораблём Тесея?». Она ничего не объясняла. У него была своя картинка. Книгу можно издать, перевести, прочесть вслух на плёнку, отсканировать; носитель меняется, содержание остаётся. Сознание — книга, мозг — носитель. Перепиши книгу на другой носитель, и это та же книга.

Картинка была удобная. Он повторял её себе по ночам, особенно после того как Каплан однажды сказал: «Лев, в твоей теории одна дырка. Книга не знает, что её переписывают. А человек знает».

* * *

Полоса дошла до восьмидесяти процентов, и в четырнадцать ноль две Симакова резко наклонилась к экрану.

— Лев Аркадьевич. Аномалия на приёмнике.

На втором экране, том, что показывал копию, узор не складывался в устойчивую форму. Он будто колебался: пробовал найти очертания и не находил.

— Что это?

— Не знаю. В симуляциях такого не было.

— Гольцев?

Гольцев смотрел на экран и молчал. Потом сказал медленно, что копия, кажется, осознаёт себя.

— Она и должна, — бросил Лебедев. — В этом смысл.

— Преждевременно. — Гольцев не обернулся. — Перенос не закончен. Она должна оставаться пассивной до конца. А она уже думает.

Полоса дошла до ста. Перенос завершился.

* * *

В четырнадцать одиннадцать Гольцев включил среду.

Средой называлось то, куда копия попадала после переноса. Городецкий звал её «прихожей»: белая комната без дверей и окон, где копия могла прийти в себя и понять, что существует. Что будет с ней дальше, пока не знал никто; над «дальше» три года бились философы Каплана, и ясного ответа у них не было.

На экране возникла белая комната, в центре — контур человека, без лица: визуализация для наблюдателей, сама копия видела себя иначе. Фигура стояла неподвижно.

— Аркадий, — сказал Городецкий в микрофон. — Вы меня слышите?

Тишина. Он повторил, назвал по имени-отчеству, назвал себя. Фигура шевельнулась, повернула голову. Голос пришёл через колонки — голос Воронина и не совсем его: тембр тот же, а интонация сместилась.

— Слышу.

Городецкий выдохнул. До этой секунды он, оказывается, не дышал.

Он спросил, как Воронин себя чувствует. Тот ответил не сразу: странно. Тела нет, а память о теле есть — будто только что лежал, а теперь стоит. Спросил, не в раю ли он. Городецкий посмотрел на Гольцева; тот пожал плечами. Нет, сказал Городецкий, не в раю. В особой среде. В машине.

Пауза вышла длиннее прежних.

— Лев Аркадьевич. А второй где?

Городецкий замер.

— Какой второй?

— Тот, кто остался. В капсуле. Я. Другой я. Он живой?

Городецкий медленно поднял глаза к стеклу. За стеклом, в капсуле, биологический Воронин ровно дышал. Сердце билось. Все показатели в норме.

— Живой.

— Что с ним будет?

Он не ответил сразу — потому что вслух это до конца не проговаривали. План был такой: после удачного переноса оригиналу вводят летальную дозу. Записано в документах, согласовано с министерством, оправдано приговором. Воронина приговорили к высшей мере; меру приведут в исполнение, просто иначе. Это никого не должно было трогать. Кроме копии, которая, как выяснилось, об этом тоже думала.

— Аркадий, послушайте...

— Не надо. Я понял. — Голос стал тише. — Когда?

— Через час.

Фигура в белой комнате опустилась: то ли села, то ли встала на колени, по визуализации было не разобрать.

— Можно мне его увидеть? Себя. Хочу попрощаться.

Гольцев, не дожидаясь, качнул головой: протоколом не предусмотрено.

— Нельзя, — сказал Городецкий. — Вы и есть он. Прощаться не с кем.

Долгое молчание. Потом копия сказала, что сказано хорошо и правильно. И добавила:

— Только это неправда.

* * *

В пятнадцать четырнадцать биологический Аркадий Воронин получил летальную инъекцию. В сознание не пришёл. Сердце встало через четыре минуты. Тело увезли в институтский морг.

Копия в это время молча сидела в белой комнате на сервере в подвале «В».

Через два часа она начала кричать.

Крик не был биологическим: ни голоса, ни лёгких, ни горла. Была структура данных, которую алгоритм переводил в звук и выводил через колонки в наблюдательной. Ровный, монотонный, бесконечный, на человеческий не похожий — и всё равно слышимый именно как крик. Через сорок минут Симакова заплакала и вышла. Гольцев остался. Городецкий остался тоже.

В двадцать два сорок Лебедев тихо спросил, не выключить ли звук. На экране белая комната была пуста: фигура пропала, алгоритм потерял её, но данные шли. Кто-то был там. Кому-то было очень плохо.

— Выключите звук, — сказал Городецкий. — Оставьте его там.

Глава 5

СЪЕЗД

Тридцать первого января две тысячи тридцать четвёртого года, в десять утра, в Большом Кремлёвском дворце открыли закрытое заседание расширенной коллегии при Президиуме Верховного Совета. Повестка была одна: «О мерах укрепления общественного порядка».

В зале сидел сорок один человек — высшая власть страны: генеральный секретарь, председатель Совмина, министры обороны, внутренних дел, госбезопасности, секретари ЦК, командующие округами, председатели республиканских советов, члены Президиума. Городецкий был сорок вторым. Его пригласили отдельно.

Он сидел в первом ряду слева, держал на коленях папку и ждал. Слайды, отчёты, графики он знал наизусть и не репетировал: тринадцать лет он этим жил.

Первым говорил Соснин, тот самый, что в двадцать восьмом придумал «технического Бога».

* * *

— Товарищи. Описывать ситуацию не буду, она вам известна. Преступность на послевоенном уровне. Убийства, грабежи, насилие — ежедневный прирост. Раскрываемость падает, тюрьмы переполнены, полиция деморализована. Это первое.

Он перевернул лист.

— Второе. Старые средства исчерпаны. Штат не нарастить, бюджета нет. Наказания не ужесточить — расстрел уже вернули, статистику это не сдвинуло. Пропаганде никто не верит. Нам нужен другой рычаг. Нужно вернуть человеку страх перед тем, чего нельзя избежать.

В зале молчали.

— Тысячу лет таким страхом был ад. Это исторический факт, не моя выдумка. Народ верил в ад и боялся ада, и это держало его в рамках. В двадцатые мы от этой модели отказались и заменили её научным мировоззрением. Для того времени — верно. Сейчас время другое, а инструмента сдерживания у нас нет. И вот теперь он может появиться. Слово академику Городецкому.

* * *

Городецкий вышел к трибуне, положил папку и не открыл её.

— Товарищи. То, что я покажу, аналогов в мире не имеет. Над этим мы работали тринадцать лет. Месяц назад я сказал бы, что нужно ещё года два. Сегодня говорю: технология готова.

Он подал знак ассистенту. Свет погас. На большом экране возникла белая комната, в центре — мужская фигура, контур без лица.

— В декабре этот человек был приговорён к расстрелу за двойное убийство. Аркадий Степанович Воронин, тридцати двух лет, гражданин СССР. Обстоятельства дела есть в розданных материалах; скажу только, что приговор обжалованию не подлежал. Двадцать второго января его доставили в наш институт. Двадцать четвёртого произвели перенос сознания. После этого тело Воронина ликвидировали — приговор приведён в исполнение. А сознание, его личность, память, его «я», продолжает существовать. В цифровой форме.

Он указал на экран.

— Воронин сейчас здесь. В этой комнате. Физически комнаты нет, она существует как данные на серверах под нашим институтом. Но Воронин в ней настоящий. Он осознаёт себя, помнит, что сделал, и выйти не может. Никогда.

Пауза.

— Это, товарищи, и есть ад.

* * *

В зале стало совсем тихо.

— Сейчас вы услышите его. Предупреждаю: это, возможно, самое тяжёлое, что вы слышали в жизни. Но без этого не понять.

Он подал знак. Включились колонки.

Секунд десять держалась тишина. Потом пришёл звук, какого никто в зале раньше не слышал и не захотел бы услышать снова. Не крик в обычном смысле — долгий, ровный, нечеловеческий, и в нём при этом ясно узнавался человеческий голос. Голос Воронина. Тот самый, что неделю назад в лаборатории спрашивал, будет ли больно. Только теперь он ни о чём не спрашивал.

Звук длился семь секунд. Кто-то из военных закрыл уши ладонями. Старый генерал в третьем ряду перекрестился.

Городецкий сделал знак. Звук убрали. Объяснять, что это было, он не стал: по лицам видел, что объяснять нечего.

— Он не может умереть. Не может уснуть, потерять сознание, отвлечься. Алгоритм держит его в полном бодрствовании столько, сколько нам нужно. Десять лет. Сто. Тысячу. Технически — бесконечно. И он знает, за что он там.

* * *

Городецкий говорил ещё пятьдесят минут. Показывал графики. Объяснял «рай» — вторую среду, которую тоже будут разрабатывать: заслуженные граждане после смерти не исчезнут, а останутся работать на пользу Родине вместе со всем своим знанием и опытом. Называл цифры: тысячи осуждённых в первый год, миллионы, на кого подействует один страх, падение преступности на восемьдесят процентов за три года. Это были его расчёты, и он в них верил. Говорил, что прежний инструмент, вера, держался лишь пока в него верили, а новая система веры не требует: она оперирует тем, что можно увидеть. Любой гражданин сможет в принципе спуститься в серверную и посмотреть на осуждённых. Прозрачный ад. Ад с гарантией.

— Готов ответить на вопросы, товарищи.

* * *

Первым спросил не генеральный секретарь, как все ждали. Первым спросил тот старый генерал, что крестился.

— Лев Аркадьевич. А вы сами в это верите?

— Во что? В технологию?

— Нет. В то, что вы делаете.

Городецкий помолчал.

— Я учёный. Я не верю. Я знаю.

— Это не ответ.

— Это лучший ответ, какой у меня есть.

Генерал кивнул, будто остался доволен, и сел.

Дальше вопросов было много: кто будет решать о приговорах, как это вяжется с международными обязательствами, сколько стоит один перенос (Городецкий ответил: этот — восемнадцать миллионов, при массовом потоке — тысяч двести), как объявить народу. На всё он отвечал спокойно. Готов был ко всему. Кроме генеральского вопроса.

* * *

В тринадцать сорок объявили перерыв. Городецкий вышел в длинный пустой коридор. Кремловые стены, портреты прежних вождей — те же, что висели тут сорок лет. Он шёл медленно, и слышны были только его шаги.

Они согласятся, думал он. Уже согласились, по лицам видно. Просто пока не знают, как это выгоднее продать.

А я? Я согласился тринадцать лет назад. Когда умерла Соня. Когда в больнице не нашлось места. Когда стало ясно, что справедливости в этой жизни нет, потому что её никто не держит. Вот я её и удержу. Сам.

В конце коридора было окно. За ним — внутренний кремлёвский двор, заснеженный, пустой. Городецкий остановился. По двору шла кошка: серая, тощая, неизвестно откуда — Кремль закрыт, кошек тут не водилось. Она проваливалась в снег, выбиралась и шла дальше. К чему-то шла. У неё была цель.

Рая любила кошек. Дома держали двух, Ваську и Мурзика; обе сдохли через два года после неё, и новых он не завёл.

Рая, сказал он про себя. Я сегодня показал им то, над чем работал тринадцать лет — с того дня, как тебя не стало, и до сегодня. Они согласятся. И тогда просто так умирать перестанут. Кто заслужил — попадёт в рай. Кто отнял чужую жизнь — в ад. По справедливости. И остановит это я уже не смогу. И не хочу.

Кошка дошла до угла и пропала за зданием. Городецкий постоял ещё немного и пошёл назад в зал.

Глава 6

НОЧЬ ПОСЛЕ

Решение приняли в семнадцать двадцать. Программу «Архив» утвердили как государственную, по высшей категории финансирования. Юридическое оформление поручили миносту с генпрокуратурой, срок — два месяца. Первый официальный приговор по новой схеме — в течение полугода, показательно, с трансляцией по центральному телевидению. До тех пор — строжайшая секретность.

Орден Ленина вручили прямо в зале, сразу после голосования. Генеральный секретарь, восьмидесяти трёх лет, с трясущимися руками, сам прикрепил его к пиджаку и сказал короткую речь. Что-то про науку, про Родину, про великий русский народ. Городецкий потом не вспомнил ни слова. Стоял прямо, не улыбался, смотрел вверх голов в стену.

После заседания его отвезли в гостиницу «Москва». От ужина он отказался, поднялся к себе, лёг не раздеваясь, без сил, но уснуть не смог.

* * *

В номере было слишком тихо. Городецкий привык спать в институте, на кушетке в кабинете, под шум вентиляции и гудение серверов за стеной. Шума он не замечал, но без него не засыпал. Здесь не было ни шума, ни гудения. Только где-то в коридоре тикали часы да изредка проходили по этажу.

Он смотрел в потолок. Лепнина тридцатых годов, гипсовые листья и виноградная лоза, когда-то красивая, теперь в мелких трещинах и пожелтевшая.

Сегодня я победил, подумал он. Добился того, чего хотел тринадцать лет. Почему же не радостно?

Он повернулся на бок, потом на другой, потом сел. В номере был мини-бар. Пить ему запретили шесть лет назад, что-то с печенью. Городецкий подошёл, достал коньяк, налил, выпил. Налил ещё. Сел в кресло со стаканом.

Аркадий, сказал он про себя. Аркадий Воронин. Прости меня. Я выбрал тебя, потому что так было удобно: приговорён, один, никому не нужен. Тебя бы расстреляли через четыре дня, и никто бы не заметил. Я дал тебе другую судьбу. Я тебя обрёл. Ты сейчас там, в моей

*белой комнате, **и кричишь, и будешь кричать ещё долго, может, всегда. Выключить тебя я технически мог бы. Юридически — нет. Ты теперь государственная собственность. Образец. Прецедент.*

Третий стакан он выпил залпом.

* * *

Подошёл к окну. Москва в огнях — не тех, что в его молодости: их стало меньше, и горели они тусклее, сэкономили электричество. Но всё-таки Москва. Большой тёмный дышащий город. Двенадцать миллионов человек, у каждого своя жизнь, свои грехи, своя будущая смерть.

Через год кто-то из них окажется у меня. На серверах. И я буду решать, кому куда. Не я — система: суды, инструкции, протоколы. Но в основании всего этого я. Моя технология, мой алгоритм. Я фундамент. Фундамент нового бога.

Он отпил из бутылки и закашлялся.

Каплан, подумал он. Знаю, что бы ты сказал. Что я построил не Бога, а тюрьму, которую нельзя обмануть, и что это не одно и то же. И ты был бы прав. Только людям не нужен Бог: я в этом убеждался тринадцать лет. Людям нужна гарантия, что справедливость есть. Её я и даю.

Я дал им бога. Настоящего. Которого можно потрогать.

* * *

Городецкий просидел в кресле всю ночь. Бутылку не допил: после третьего стакана замутило. Он отставил её и просто смотрел в окно. Небо за стеклом серело, потом порозовело. Около шести снизу пошли первые звуки: машина, ещё машина, чьи-то шаги по тротуару.

В семь постучали. Помощник, молодой, в костюме, безымянный, принёс кофе и сообщение.

— Лев Аркадьевич. Из института. Объект ведёт себя нестандартно.

— Что именно?

— Перестал кричать. Час назад.

— Что делает сейчас?

— Не знаю. Гольцев сказал — непонятно.

Городецкий допил кофе и велел передать, что приедет через два часа. Помощник кивнул и вышел.

Городецкий прошёл в ванную, включил свет. В зеркале на него смотрел старик: шестьдесят лет, седая борода, воспалённые глаза и орден Ленина, который он вчера забыл снять и в котором так и просидел ночь.

Один из них двоих кричал семь суток без перерыва, подумал он, глядя в зеркало. А другой за это время получил орден Ленина. Любопытно.

Он пустил воду и стал умываться.

Глава 7

УТРО

В девять двадцать Городецкий приехал в институт. На пропускном встретил Лебедев — с лицом человека, который тоже не спал, что, впрочем, ничего не значило: Лебедев всегда выглядел одинаково.

— Идёмте. Лучше показать.

Спустились в подвал корпуса «В»: гудение, прохлада, лампы дневного света. По центральному коридору шли молча. В наблюдательной сидели Гольцев и Симакова, оба со вчера на ногах.

На главном экране была та же белая комната. Только фигуры в ней не было.

— Где он?

Гольцев показал на второй экран, технологическую карту: серверы, потоки, индикаторы. Один индикатор мигал не там, где полагалось копии, а далеко в стороне, в областях, которые не использовали. Воронин переместился, объяснил Гольцев. Куда именно — непонятно. Среда замкнута, выход только через интерфейс, такого быть не должно. Но он нашёл какую-то щель и теперь не в «прихожей», а где-то между.

— Связь есть?

— Косвенная. Отвечает, если спрашивать через основной протокол.

— Спросите, где он.

Гольцев набрал на клавиатуре. Через пару секунд пришёл ответ:

«В углу».

— Что делает?

«Сижу».

— Почему перестал кричать?

Пауза. Потом:

«Устал».

— Он не может устать, — сказал Лебедев. — Алгоритм не позволяет.

Гольцев напечатал вопрос. Ответ пришёл через минуту:

«Я знаю, что не могу. Но я устал. Это разные вещи».

* * *

Городецкий сел в кресло перед терминалом. Говорил вслух, Гольцев набирал.

— Аркадий. Это Городецкий. Расскажи, что с тобой.

Долгая пауза.

«Не знаю, как объяснить. Слов нет. Слова у меня от того тела. Тело было одно. А я теперь другое. Старые слова не подходят».

— Попробуй.

Воронин ответил не сразу. Написал, что, пока кричал, всё ждал: сейчас что-нибудь сделают, чтобы он замолчал. Никто ничего не сделал. И это было хуже самого крика — не крик, а то, что никто не слушает. Потом он понял, что слушали. Слышали и просто решили не отвечать. Легче не стало, но стало понятнее. И он перестал.

Городецкий долго молчал.

— Тебе сейчас плохо?

«Не знаю».

Раньше «плохо» было что-то в теле, написал Воронин: болит, тошнит, холодно. А тела нет, есть только он, и как назвать то, что с ним, он не знает. Может, плохо. Может, нет. Новое какое-то состояние, он ещё не разобрал.

«Лев Аркадьевич. А вы про это раньше знали? Что у меня тут будет?»

— Нет, — ответил Городецкий честно.

«Тогда зачем делали?»

Симакова смотрела на него. Гольцев смотрел в экран. Лебедев стоял у двери.

— Хотел, чтобы убийц наказывали, а достойные после смерти не исчезали совсем. Думал, так мир станет лучше.

«А он стал?»

— Пока не знаю. Это только начало.

«Я начало».

— Да.

* * *

Переписывались ещё около часа. Воронин спрашивал простое: какой день недели, какая погода, сколько прошло с переноса. Городецкий отвечал. Один раз Воронин спросил про

сына, про Кирилла. Лебедев сходил к компьютеру и вернулся: у бабушки, в Электростали, всё хорошо. Городецкий передал.

«Хорошо. Лев Аркадьевич, можно просьбу?»

— Можно.

«Если когда-нибудь — лет через двадцать — сын захочет узнать, что со мной стало, расскажите ему. Только не как про преступника. Как про первого. Скажите: папа был первым. Это всё-таки тоже что-то».

Городецкий ответил не сразу.

— Расскажу.

«Спасибо. А теперь выключите, пожалуйста, экран. Хочу побыть один».

* * *

Гольцев погасил основной интерфейс. Связь оставили — вдруг Воронин снова захочет говорить. Но он молчал. Индикатор мигал ровно, раз в секунду.

Городецкий поднялся к себе, сел за стол. На столе лежали бумаги: отчёты, согласования, проекты приказов. Со вчерашнего дня всё это становилось государственной машиной; к концу года в стране пойдут первые официальные приговоры, и инфраструктуру под массовый поток надо готовить уже сейчас. Он отодвинул бумаги.

Открыл нижний ящик, достал фотографию в рамке. Рая, Митя и Соня на даче, лет восемнадцать назад. Соне тут четыре. Она смеётся.

Соня, подумал Городецкий. Скажу тебе одну вещь. Ты не поймёшь — ты была маленькая, и тебя давно нет. Но я всё равно скажу.

*Я сегодня запустил большую машину. Она будет работать без меня — после моей смерти, после смерти твоего брата, может быть, века. Будет наказывать плохих и награждать хороших, будет держать в себе миллионы **человеческих сознаний: кто кричит, кто работает, а кто просто сидит в углу, как Аркадий.*

Справедливой она не будет. Я понял это сегодня ночью. Любая система, которую делают люди, повторяет их ошибки. Туда попадут невиновные. Попадут те, кого назначат виновными, потому что так нужно. Это уже не остановить. Я это знаю. И всё равно её строю — потому что такая справедливость лучше, чем никакой. Так я себе говорю. Не знаю, правда это или просто оправдание. Прости меня, Соня, если окажется, что неправда.

Он положил фотографию обратно, закрыл ящик, взял верхнюю бумагу и подписал.

* * *

В подвале корпуса «В», в углу несуществующей белой комнаты, на сервере под номером 7-Д-122 сидел Аркадий Степанович Воронин. Бывший сварщик. Бывший муж. Бывший отец. Первый осуждённый. Первый житель ада.

Он сидел и считал. Начал ещё ночью, когда перестал кричать: в обратную сторону от ста тысяч, а дойдя до нуля, начинал заново. Это был единственный способ занять то, что от него осталось.

Девяносто восемь тысяч триста двенадцать.

Девяносто восемь тысяч триста одиннадцать.

Девяносто восемь тысяч триста десять.

Наверху, в директорском кабинете, Городецкий подписывал бумаги. В Электростали, у бабушки, четырёхлетний Кирилл Воронин тянулся к окну, видел снег и улыбался. У закованного «Прогресса» Маша Серова снова стояла за хлебом — снова с четырёх утра, снова на морозе под минус двадцать. А в Кремле, в одном из кабинетов, помощник генерального секретаря правил проект указа о новой государственной программе. Программу решили назвать «Обеспечение гражданской справедливости».

В подвале считали дальше.

Девяносто восемь тысяч триста девять.

Девяносто восемь тысяч триста восемь.

Девяносто восемь тысяч триста семь.

Он считал дальше. Снаружи шёл тридцать четвёртый год.л

Часть 2

«ИУДА»

«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников...»

— Мф. 27:3

От публикатора

Тетрадь Павла Сечёного, бывшего учителя истории, была найдена в его комнате в коммунальной квартире № 14 дома по улице Складочной в Москве вскоре после его ареста. Тетрадь хранилась в министерстве внутренних дел как материал к уголовному делу № 7-77/35, а после оглашения приговора — в архиве Института прикладной нейробиологии имени Бехтерева, в разделе закрытых материалов программы «Архив».

Тетрадь представляет собой обыкновенную школьную тетрадь в клетку на сорок восемь листов, исписанную тёмно-синими чернилами шариковой ручки. Почерк ровный, читаемый, без правок. Записи датированы автором — от марта до сентября две тысячи тридцать пятого года.

Текст приводится без сокращений. Орфография и пунктуация автора сохранены.

— Публикатор

Глава 1

ТЕТРАДЬ

Запись первая

12 марта 2035 г.

Не знаю, зачем начинаю эту тетрадь. Раньше у меня не было привычки писать. Учитель истории, я учил детей понимать чужие записи, а сам ничего не записывал. История делается не нами, говорил я им. Мы только наблюдаем.

Это была ложь, конечно. Но красивая, и детям она нравилась.

Тетрадь нашёл сегодня. Она лежала под ванной — старая, школьная, в клетку. Видимо, осталась от кого-то из жильцов, кто здесь жил до меня. У нас в коммуналке часто остаются вещи от прежних — люди уезжают спешно, иногда не успевают взять даже паспорт. Кто-то умер, кого-то увезли, кто-то просто исчез. В коридоре у двери стоит чемодан Семёновых, которых забрали в декабре. Никто его не трогает. Чемодан стоит там как маленький памятник.

Мне сорок пять лет. Живу в комнате восемь квадратных метров. До меня здесь жила старуха, которая умерла на этой же кровати. Кровать пружинит в одном месте, и когда ложусь, слышу, как она поскрипывает. Думаю иногда: старуха, когда умирала, так же слышала скрип этой пружины. Скорее всего, да.

В коммуналке нас двенадцать семей. Считаю меня. Я одна семья из одного человека. Остальные одиннадцать — настоящие семьи, с детьми. Утром, выходя в туалет, переступаю через спящих. Им не хватает места в комнатах.

Ничего ещё не написал. Только сообщил факты. Сегодня расскажу одну вещь, которую никому не рассказывал. Вещь маленькая, но почему-то надо её записать. Может быть, чтобы убедиться, что помню.

* * *

Вчера ко мне постучал человек. Имени его не знаю. Знаю только, что он пришёл от человека по фамилии Гречко — это мой бывший директор школы, в которой я работал девятнадцать лет. Гречко сейчас работает в управе, занимается, как он сам говорит, «социальной устойчивостью района». Что это значит, все знают, но никто не говорит об этом.

Человек был средних лет, в сером пальто, с лицом, которое не смог бы описать сегодня. Не злое лицо. И не доброе. Лицо клерка.

Он сказал: «Павел Дмитриевич, у меня к вам предложение». И я уже знал, какое. Любой в нашем доме знал бы. Любой в нашем городе знал бы.

Сразу не отказал. Это было моей ошибкой. Сейчас понимаю, что отказать надо было сразу — на пороге, не пуская его в комнату. Но не отказал. Предложил ему сесть. Налил чаю. Чай у меня был, настоящий, индийский, я его берёг — последние полбанки. Налил ему первому, может, хотел понравиться, произвести приятное впечатление, не знаю.

Он сел и долго смотрел на свой стакан. Потом сказал: «Нам нужны глаза в этом доме».

Я молчал.

Он сказал: «Мы не просим многого. Раз в неделю — отчёт. Кто к кому ходит. О чём говорят. Кто что приносит и откуда. Всё. Никаких списков на расстрел, никаких операций. Просто — глаза».

Я молчал.

Он сказал: «Месячное содержание — мешок муки тридцать килограмм, тридцать банок тушёнки, сахар. Не сейчас — через месяц, после первого отчёта. И ещё».

Он замолчал, посмотрел на меня и продолжил тихо: «Если когда-нибудь придёт время — а оно придёт, Павел Дмитриевич, мы оба это знаем, — если на этот дом придёт указание, мы оставим вас в стороне. Вы будете в списке тех, кого не трогать».

Молчал ещё дольше. Не знал, что сказать. Смотрел на свои руки на столе. Руки у меня учительские, тонкие, с короткими пальцами. Девятнадцать лет этими руками писал на доске. Неплохим был учителем, думаю. Дети меня слушали. Может быть, не любили — это другое, — но слушали.

Спросил: «А если откажусь?»

Он сказал: «Тогда никаких последствий. Я уйду, и мы забудем этот разговор. У нас много кандидатов».

Он смотрел мне в глаза, и я видел, что это правда. Кандидатов у них действительно было много. Это была не угроза. И даже не давление. Просто... объявление. Деловое.

Сказал: «Мне надо подумать».

Он сказал: «Сутки».

И ушёл.

* * *

Ночью не спал.

Думал о девочке.

В комнате напротив моей живут Орловы. У них трое детей, младшая — девочка пяти лет, её зовут Алёнка. Маленькая, тощая, с прозрачной кожей. Чем она больна, не знаю — может, ничем, может, просто голодом. Голод сейчас выглядит как болезнь. Кожа становится прозрачной, и под кожей видно всё, чего видеть не положено.

Подкармливаю её последние два года. Есть у меня одна старая привычка — не съедать всё, что выдают. Паёк хороший, как у бывшего работника образования, мне положено больше, чем многим. Часть оставляю. Эту часть отдаю Алёнке. Не всем Орловым, а именно ей — у неё двое старших братьев, они уже почти подростки, и они едят как могут. Отдаю Алёнке. Она прибегает ко мне раз в неделю, иногда два, даю ей кусок хлеба, иногда сахар, иногда — если очень повезёт — кусочек масла. Она ест у меня в комнате, на моей кровати. Смотрю, как она ест, жалко её.

Думал о ней всю ночь.

Если соглашусь, будет мешок муки. Тридцать килограмм. Это значит, что смогу подкармливать её не раз в неделю, а каждый день. Это значит, что у неё, может быть, перестанет быть прозрачная кожа. Может быть, она доживёт до семи лет. До восьми. До пятнадцати, кто знает.

А если откажусь — этого не будет. И буду подкармливать её, как и раньше, раз в неделю. И останется у неё прозрачная кожа. И, может быть, не доживёт она даже до семи лет.

Знаю, что это порок, предательство. Сам когда-то преподавал это на уроках истории — как разные нехорошие люди оправдывают себя тем, что делают зло ради добра. Знаю эту схему. Сам её разоблачал на уроках.

Но это не помогает.

Потому что у меня в коридоре спит Алёнка.

* * *

Утром постучал в эту дверь — не в управу, а в маленькую дверь во дворе, как мне было сказано. Открыл тот же человек. Он не удивился. Сказал: «Хорошо. Заходите».

Зашёл, и в маленькой комнате стояли двое — он и ещё один. Мне дали лист бумаги и ручку. Написал заявление о добровольном сотрудничестве. Руки даже не дрожали. Пока писал, думал об Алёнке.

Подписал. Меня поздравили. Сказали, что в этот раз сообщать ничего не надо — просто познакомиться, привыкнуть. Через неделю принесу первый отчёт. Сказали, что дадут темы — на что обращать внимание.

Вышел во двор. На дворе светило солнце, очень яркое для марта, и снег быстро таял. По двору шла кошка — серая, тощая. Почему-то долго на неё смотрел.

Потом пошёл домой.

Дома сидел на кровати — той, на которой умерла старуха, — и смотрел в стену. Не чувствовал ничего. Это меня тогда удивило. Думал, что должен что-то чувствовать. Стыд, ужас, отчаяние. Не чувствовал ничего. Просто сидел.

Может, я уже умер тогда, и просто не заметил.

Потом пришла Алёнка. Дал ей кусок хлеба. Она ела. Я смотрел.

Это была среда, двенадцатое марта.

Так началась эта тетрадь.

Запись вторая

4 апреля 2035 г.

Первый отчёт сдал двадцатого марта.

Это было проще, чем думал. Они приготовили для меня шаблон — лист с графами. Имя соседа, кто посещал, в какое время, что слышали (если слышали). Заполнил, что мог. Написал про Орловых — что у них раз в неделю бывает старший брат отца, Леонид, и приносит еду. Откуда еда — не знал, так и написал. Написал про Звягинцевых — что у них вечерами горит свет до позднего и бывают разговоры, но слов я не разобрал. Написал про Ивана из второй комнаты — что он три раза за неделю выходил ночью и возвращался под утро. Про себя написал — что ни с кем не общаюсь, кроме Алёнки Орловой, которую подкармливаю. Это добавил сам, как профилактику. Чтобы потом не сказали, что скрыл.

Отдал лист и получил мешок муки. Нёс его домой в наволочке — настоящий, тяжёлый, тридцать килограмм. Руки болели. Давно не носил ничего тяжёлого.

Дома первым делом испёк хлеб. У нас на кухне старая печь, советская, уже и забыл, когда последний раз ею пользовался. Замесил тесто, поставил, час подождал. Когда хлеб поднялся, отрезал большой кусок и пошёл к Орловым.

Алёнка ела этот кусок медленно. Очень медленно. Так едят люди, которые понимают, что еда — это не каждый день.

Смотрел на неё, и мне было хорошо.

Повторяю это, потому что важно запомнить: мне было хорошо. Это значит, что система работает. Я предал и почувствовал не угрызение, а удовлетворение. Устройство простое, и оно во мне сработало без сбоев.

* * *

Сегодня узнал, что Леонида, брата Орлова, арестовали.

Не знал, что это случится. То есть — теоретически знал. Теоретически понимал, что мои отчёты — это не отчёты в шкаф, что они приводят к арестам. Не дурак. Три года преподавал тридцатые. Знаю, как работают такие схемы.

Но одно дело — знать, и другое — увидеть. Сегодня увидел.

Сегодня утром в нашу коммуналку пришли четверо. Они зашли к Орловым. Не к Леониду — Леонид сюда только заходил в гости. Они пришли в эту комнату, потому что у Леонида здесь хранилось что-то. Что именно — до сих пор не знаю. Они изъяли коробку, перевязанную бечёвкой. Не открывали. Унесли как есть.

Орлова — мать, Анна — стояла в коридоре и молчала. Не плакала. Просто стояла. Дети смотрели из комнаты. Алёнка тоже смотрела. Она смотрела на этих четверых так, как будто пыталась что-то понять про мир.

Стоял в дверях своей комнаты. Знал — они зашли по моему отчёту. Может, не только по моему — может быть, у них была и другая информация. Но мой отчёт был частью. От таких мыслей пошли мурашки по телу и волосы встали дыбом.

Один из четверых, проходя мимо меня в коридоре, посмотрел мне в глаза и едва заметно кивнул. Не открыто — никто из соседей не увидел. Но он кивнул.

Я кивнул в ответ.

Это была наша секретная связь. Это было хуже всего, что было в тот день.

* * *

Вечером Алёнка пришла ко мне в комнату.

Не знал, что сказать. Отрезал ей хлеб. Налил молока — молоко было, купил у бабки на углу два дня назад. Поставил всё это перед ней.

Она не ела.

Она сказала: «Дядя Паша».

Спросил: «Что, Алёнушка?»

Она сказала: «Дядю Лёню забрали».

Сказал: «Я слышал».

Она сказала: «Мама плачет».

Сказал: «Знаю».

Она долго смотрела на хлеб. Потом сказала: «Дядю Лёню теперь не отдадут?»

Сказал: «Не знаю, Алёнушка. Может, отдадут. Иногда отдают».

Это была ложь. Дядю Лёню не должны были отдать. Знал это. Сейчас никого не отдавали.

Она кивнула. Потом начала есть.

Смотрел, как она ест, и мне больше не было хорошо.

Запись третья

17 мая 2035 г.

За эти полтора месяца сдал шесть отчётов.

Начинаю замечать в себе изменения. Хочу их записать, пока могу.

Раньше ходил по коридору и видел соседей. Старуху Тимофееву. Семью Иваненко с тремя детьми. Дедушку Григория, у которого нога сухая и который ходит на костыле. Звягинцевых. Орловых. Видел их всех как людей. Знал, кто из них болеет, у кого день рождения, кто работал раньше и кем.

Сейчас хожу по коридору и вижу их как объекты для отчёта. Тимофеева — пункт. Иваненко с тремя детьми — пункт. Григорий — пункт. В голове сложилась шаблонная сетка, и я смотрю на людей через неё. Не вижу больше Григория с его сухой ногой. Вижу — «мужчина, инвалид первой группы, посетителей не наблюдалось».

Это профессиональная деформация, как говорят. Я её замечаю. И ничего не могу с ней сделать.

Хотя — могу. Знаю, что могу. Могу всё это бросить. Могу пойти и сказать тому человеку в сером пальто: «Я больше не хочу». Он не убьёт меня. Кандидатов у них много. Они просто перестанут давать мне муку.

Но не пойду. Это второе изменение, и оно страшнее первого.

Не пойду, потому что уже привык. Привык к муке, к мясу, к сахару, к тому, что в комнате стало тепло, потому что можно покупать дрова. Привык к Алёнке, которая больше не прозрачная — она просто худая, как обычный ребёнок, и у неё снова появились две косички, потому что у её матери появилось время и силы их заплетать. Привык к тому, что могу делиться. К ощущению, что полезен.

Понимаю, что это сейчас прозвучит чудовищно. Но это правда: доносчиком я чувствую себя более полезным, чем чувствовал за все девятнадцать лет учительства.

Учителем я давал детям знания, которые им были не нужны, потому что им было нечего есть. Доносчиком я даю им хлеб.

Это не оправдание. Это констатация факта.

* * *

Один раз попытался поговорить с собой по-настоящему. Это было в начале мая. Сидел вечером один, с водкой, которая у меня тоже теперь была. Налил себе стакан и сказал вслух — комнате, стене, Богу, не знаю кому: «Что ты делаешь, Павел?»

Никто не ответил.

Ответил себе сам: «То, что мне сказали делать».

«А раньше тебе говорили хорошие вещи?»

«Раньше мне говорили учить детей».

«А сейчас?»

«А сейчас мне говорят следить за детьми».

Это меня очень развеселило. Смеялся, наверное, минут пять. Потом стало тихо.

Потом заплакал. Это было удивительно — давно не плакал. Со смерти матери, наверное, а это было одиннадцать лет назад. Плакал тихо, чтобы не услышали соседи. У нас тонкие стены.

Потом допил водку и лёг.

Утром отнёс отчёт.

* * *

Сегодня они дали мне новую тему.

Темы получаю в конверте, вместе с пустыми бланками. Тема — это то, на что особо обратить внимание в следующем отчёте. Обычно что-то общее: «активность в позднее время», «незнакомые посетители», «упоминание имён собственных в разговорах».

Сегодня тема была конкретнее: «комод в области кухни. Установить, кто пользуется комодом после двадцати трёх часов».

Комод в области кухни — это шкафы под мойкой, в которых жильцы хранят свои продукты. У каждого свой шкаф. Это вообще такое тонкое дело, никто чужой шкаф не трогает — это правило сильнее любого закона. Кто пользуется чужим комодом — тот вор. У нас был один такой раз, в две тысячи тридцать втором году. Мужик из седьмой комнаты полез к Звягинцевым, соседи узнали, так его отметелили, — он потом пропал, и никто не спрашивал куда.

Задание понял. Если кто-то ночью лезет в чужие шкафы — это вор. Это уголовное дело.

Но понял и другое. Понял, что это меня проверяют.

Потому что есть у меня подозрения, точнее, — знаю, кто это. Это Орлов. Старший Орлов, отец Алёнки. Он несколько раз вставал ночью, я слышал, и шёл в сторону кухни.

Если напишу — Орлова заберут.

Если не напишу — они проверят меня. Свои данные у них наверняка уже есть, и они сравнят. Если скрою — мне конец.

Долго не решался написать, хотя прекрасно понимал, что напишу.

Это меня страшно мучает. Это уже не Леонид, какой-то двоюродный брат, человек, которого я почти не знал. Это отец Алёнки.

Отложил тетрадь. Сажу на кровати. Думаю.

Запись четвёртая

11 июня 2035 г.

Написал.

Тянул две недели. Думал. Выходил ночью на кухню сам, делал вид, что нужно попить. Смотрел. Орлов действительно лазил в шкаф Звягинцевых. Это было точно — видел. Он брал понемногу — кусок сала, горсть крупы. Не много. Ровно столько, чтобы Звягинцевы не сразу заметили.

Понимаю его. У него трое детей. У него Алёнка. Когда мужчина видит, как его ребёнок умирает с голоду, он перестаёт быть прежним мужчиной. Он становится другим существом. Это существо может многое.

Орлова понимаю. Но написал.

Написал: «В период с двадцать четвёртого мая по седьмое июня неоднократно наблюдал, как гражданин Орлов А. Н. в ночное время — с двадцати трёх до часу — заходил в кухонное помещение и брал продукты из шкафа, не являющегося его собственностью (шкаф семьи Звягинцевых). Количество не могу оценить точно, но действия имели регулярный характер».

Отчёт отнёс двадцать восьмого мая.

Орлова забрали девятого июня.

* * *

Когда его забирали, был дома. Это было утром, около семи. Лежал и слушал.

В коридоре стук. Голоса. Узнал голос Анны, жены Орлова — она просила, молила, тихо, без крика. Это её особенность — она никогда не кричит. Узнал голос Орлова — он не отвечал ей, только спросил у тех, кто пришёл: «Куда?» Они не ответили. Потом он сказал: «Минутку, я возьму куртку».

Минутку дали. Он взял куртку. Они ушли.

Дверь захлопнулась. В коридоре стало тихо.

Лежал. Не вставал.

* * *

Потом услышал, как кто-то идёт к моей двери.

Лёгкие шаги. Босые ноги. Знал, кто это.

В дверь постучали — тихо, два раза.

Открыл. Стояла Алёнка.

Она была в ночной рубашке. Волосы лохматые после сна, одна косичка распалась. Глаза не плакавшие — слишком потрясённые ещё, чтобы плакать.

Она спросила: «Дядя Паша. Папу куда увели?»

Сказал: «Не знаю, Алёнушка».

Она сказала: «А они скоро вернут?»

Сказал: «Не знаю».

Она сказала: «А ты можешь спросить?»

Спросил: «У кого?»

Она сказала: «У дядей. У тех, что папу увели. Ты же с ними... ты же знаешь?»

Я замер.

Смотрел на неё и не понимал, что она имеет в виду. То есть понимал, конечно, понимал. Но хотел не верить.

Сказал: «Не знаю их, Алёнушка. Не знаю никаких дядей».

Она долго на меня смотрела.

Потом сказала: «А мама говорит, что знаешь».

«Что Анна знает. Знают все, наверное», — подумал я.

Сказал: «Алёнушка, иди к маме. Я ничего не знаю. Хочешь хлеба?»

Она сказала: «Нет, не хочу».

Это был первый раз за два года, когда она отказалась от хлеба.

Она развернулась и ушла.

* * *

Сел на кровать.

Сидел очень долго.

Не чувствовал ничего, кроме одного — холода в животе. Просто холод. Как будто там что-то лежало, что-то твёрдое и холодное, и оно отдавало холодом во всё тело.

Через час встал и пошёл на работу. Работа у меня сейчас есть — устроен сторожем в детский сад. Это та работа, которую дал мне тот человек в пальто. Работа простая, шесть часов в смену. Охраняю детский сад от воровства мебели и игрушек.

Охраняю детей.

Это сегодня показалось мне особенно смешным.

Охранял детский сад в этот день. Сидел на стуле в холле и смотрел в стену. Заведующая, Тамара Сергеевна, подошла ко мне и спросила: «Павел Дмитриевич, вы плохо себя чувствуете?»

Сказал: «Нет, спасибо. Я в порядке».

Она посмотрела на меня внимательно и ушла.

Через стекло двери видел, как дети шли на прогулку. Цепочкой, парами, держась за руки. Воспитательница пересчитывала их. Шестнадцать детей. Они смеялись.

Подумал: «У них есть отцы, наверное. У большинства. Они потом пойдут домой, и им откроет отец. У Алёнки больше нет отца».

Подумал это, и в первый раз за день что-то почувствовал. Почувствовал — не стыд, не отчаяние, не страх. Что-то более простое. Что-то совсем простое.

Почувствовал, что я уже не человек.

Не в смысле метафоры. В смысле буквально. Что-то во мне закончилось. Какая-то структура, которая делает из животного — человека. Эта структура потеряла последнюю опору и осыпалась.

Доработал смену и пошёл домой. Дома лёг и проспал девятнадцать часов. Это было удивительно — давно так не спал.

Запись пятая

3 сентября 2035 г.

Прошло три месяца. Тетрадь не открывал.

Открываю её сегодня, потому что надо много записать. Это будет последняя запись, думаю.

* * *

В августе они дали мне новую задачу. Не отчёт — задачу.

Тот же человек в сером пальто пришёл ко мне в комнату — впервые после того раза. Он сел, налил чаю. Чай у меня теперь всегда есть — настоящий, индийский. Беречь уже не надо.

Он сказал: «Павел Дмитриевич. Нам нужна ваша помощь в одном крупном деле».

Сказал: «Слушаю».

Он сказал: «В районе действует группа лиц, которая занимается хищением государственных продовольственных запасов. Около десяти складов уже идентифицированы как пострадавшие. Мы знаем, что группа активна. Мы не знаем, кто в неё входит».

Я молчал.

Он сказал: «У нас есть основания полагать, что один или несколько участников группы живут в вашем доме. Возможно — в вашей коммуналке. Возможно — в соседних».

Сказал: «Я ничего не слышал».

Он сказал: «Конечно, не слышали. Они аккуратные. Но в вашем доме регулярно появляется свежее продовольствие, которое жильцы не могли купить легально. Откуда — мы не знаем. Это вопрос к вам».

Я молчал.

Он сказал: «Мы предлагаем активизироваться. Поговорить с соседями. Прощупать. Возможно — выйти на их связных. У нас есть основания полагать, что одна из участниц группы — гражданка Орлова Анна Никитична».

Не выдал ничего. Научился.

Сказал: «Хорошо. Попробую».

* * *

С Орловой не разговаривал три месяца — с тех пор как забрали её мужа. Она со мной тоже не разговаривала. В коридоре, когда мы случайно сталкивались, она опускала глаза. Не говорила «здравствуй». Не говорила «добрый вечер». Это самая страшная форма ненависти, которая бывает между соседями — когда человек тебя как бы не видит. Просто не видит. Ты для него — не человек, ты — пустое место в коридоре.

Алёнка тоже больше ко мне не ходила. Это я тоже понимал.

Но к Орловой пошёл. Постучал. Она открыла.

Она увидела меня и хотела закрыть дверь.

Сказал быстро: «Анна. Я пришёл предупредить».

Она остановилась.

Спросил: «Можно зайти?»

Она долго на меня смотрела. Потом отошла, пропуская.

* * *

Не уверен, зачем сделал то, что сделал дальше.

Зашёл в её комнату. Это была комната восемнадцать квадратов — больше моей, но и людей тут было больше. Двое мальчишек на полу играли в шашки. Алёнка сидела на кровати и читала старую книгу. Когда вошёл, она посмотрела на меня — без удивления, без злости. Так смотрят на стену.

Сел на табуретку у двери.

Сказал тихо: «Анна. На вас есть подозрения».

Она кивнула. Как будто это было что-то ожидаемое.

Сказал: «Они думают, что вы участница группы, которая ворует со складов».

Она снова кивнула.

Сказал: «Я ничего не подтвердил. Сказал, что попробую узнать».

Она молчала.

Сказал: «Я могу солгать им. Могу сказать, что ничего не нашёл. Один раз, может, два — пройдёт. Дальше будет хуже. Они найдут другие источники».

Она молчала.

Сказал: «Если есть, что прятать, — прячьте. Если есть, куда уехать, — уезжайте. У вас есть ещё, может быть, две недели».

Она долго молчала. Потом сказала тихо — так, чтобы не услышали дети: «Зачем вы это делаете?»

Не ответил сразу.

Хотел сказать что-то про Алёнку. Что-то про то, что у меня была причина — за хлеб. Что кормил её всё это время. Что не злодей, не убийца, был как все, просто хотел, чтобы один ребёнок не умер.

Ничего этого не сказал.

Сказал: «Не знаю».

Она кивнула, как будто этот ответ был лучше любого другого.

Встал и ушёл.

* * *

Через два дня понял, что сделал.

Соседей не предупредил. Предупредил группу. Группу из четырнадцати человек, которая воровала еду со складов партии. Каждый из них кормил кого-то — своих детей, чужих детей, стариков, больных. Это был большой кусок чёрного рынка, на котором держался наш район.

Анну предупредил, потому что виноват. Потому что хотел, чтобы Алёнка осталась с матерью. Потому что в голове, в этом гнилом, разрушенном моём учительском уме, мелькнула мысль: «Может, я хоть это сделаю. Хоть это могу».

Предупредил, и Анна предупредила остальных. Знаю — потому что в эти две недели в коммуналке стало тихо. Слишком тихо. Ходили вечером. Куда-то носили коробки. Звягинцевы ходили тоже: оказалось, и они были в группе. Все в коммуналке были как-то в этом замешаны. Кроме меня — я был один, был только наблюдателем.

Через две недели у меня собралось достаточно. Знал имена. Знал, где сейчас находятся склады. Знал, что группа готовится к большой акции — последней, чтобы потом исчезнуть.

* * *

Мог не докладывать.

Мог солгать тому, в сером пальто. Сказать: «Ничего не нашёл. Группа, видимо, не из этого района».

Меня бы, наверное, заменили. Лишили муки. Но в муке я уже не очень нуждался — были запасы. Прожил бы.

Но не солгал.

Не знаю, почему не солгал.

Может быть, потому что уже не мог по-другому. Может быть, потому что уже привык — отнести бумагу, получить муку, кивнуть тому, кто кивнёт. Может быть, потому что в самой глубине, в самой грязи моего бывшего учительского ума, подумал: «Если они нашли способ воровать, значит, они опасны. Значит, они системе угрожают». Даже думал такими словами. «Системе угрожают».

Думал словами доносчика.

Я уже был доносчик.

* * *

Двадцать второго августа отнёс полный отчёт.

Перечислил четырнадцать человек. Анну Орлову. Звягинцевых — отца, мать и старшего сына. Молодого человека из соседнего подъезда, имени не знал, дал описание. Бабку Тимофееву — да, и её, оказалось, она была связной. Шесть человек из соседних домов, имена и адреса, как мог установить.

Отнёс. Получил конверт — двойной паёк, прибавку. Ничего этого мне было не надо.

Аресты прошли двадцать пятого августа. Утром. Из комнаты не выходил, лежал. Слышал, как забирают Орлову. Слышал, как кричит Алёнка — она первый раз кричала. Раньше она никогда не кричала, я её не слышал. Сейчас кричала.

Старших мальчиков увезли в детский дом. Алёнку — тоже.

Когда они проходили мимо моей двери, Алёнка кричала: «Дядя Паша! Дядя Паша, дядю Лёню вернули? Где мама? Где мама?»

Я не открыл.

Лежал и слушал, как она кричит, и не открыл.

* * *

Сегодня третье сентября. С тех пор прошло восемь дней.

В коммуналке после арестов осталось почти пусто. Половина семей увезена — оказалось, в группе было больше людей, чем я писал, у них были свои связи. Звягинцевы — все. Бабка Тимофеева — арестована. Иваненко — арестован отец. Дедушка Григорий — арестован, хоть и был на костыле. Остальные — оставшиеся одиннадцать комнат — съехали по своей воле, в течение недели. Никто не хочет жить в коммуналке, в которой только что прошли аресты. Это плохая примета. Хуже неё нет.

Остался один. В двенадцати комнатах коммуналки — я один.

Чемодан Семёновых так и стоит в коридоре. Ни разу к нему не подошёл.

Управдом сказал, что мне дадут квартиру. Отдельную. За заслуги. Это входило в моё «содержание» — об этом я не знал. У них была программа поощрения. Отказался. Не знаю, почему.

Сейчас сижу один в коммуналке. Свет горит только в моей комнате. На кухне темно. В коридоре темно. Двенадцать дверей закрыты. За одиннадцатью из них — ничего.

Пишу эту запись, и мне страшно.

Не страшно за себя. Знаю: за мной придут. Сегодня или завтра. Тот, в сером пальто, три дня назад сказал мне: «Павел Дмитриевич, у нас к вам бооольшое предложение. Великая миссия. Скоро ты станешь знаменитым». Это значит одно: последнее дело. Следить-то больше не за кем.

Они меня используют. Теперь понимаю это. Понимаю, что с самого начала меня вели к чему-то. Вот к этому. К тому, что я стану публичной фигурой, Иудой, которого можно показать всей стране. И в этой истории мне уготовано особое место.

Я знаю, какое.

Знаю об этом из газет, и из слухов, и из того, что говорил тот человек в сером пальто, когда однажды нашёл смелость спросить. У них есть такая новая программа. Перенос сознания. Это для самых тяжёлых. Это вместо расстрела. Это хуже расстрела.

Расстрел был бы милосерден. Расстрел был бы — завершение мук, голода и страха.

То, что у них есть сейчас, — это вечное.

Я преподавал историю. Знаю, что такое «вечно». Объяснял детям, что в истории «вечно» — это всегда метафора. Цари обещали вечно, революции обещали вечно, корпорации обещали вечно. Всё кончалось. Сто лет, двести, тысяча — но кончалось.

А сейчас, кажется, действительно — вечно. Не метафора. Они нашли способ.

Не знаю, в каком виде это будет. Знаю только, что это будет долго. Очень долго. Долго так, что моё сознание перестанет осознавать, где начало и где конец, и от этого станет хуже всего.

Если кто-то когда-нибудь прочтёт эту тетрадь — не знаю, как меня судить. Прощения не прошу.

Прошу только — если эта тетрадь попадёт к Алёнке Орловой, пожалуйста... прости. Хочу, чтобы для тебя я остался дядей Пашей, который давал хлеб.

Это последняя моя просьба.

Закрываю тетрадь и кладу её под половицу, в угол комнаты. Там есть тайник — обнаружил его сразу, когда сюда въехал. Думаю, у старухи в нём что-то лежало. Тайник её нашёл пустой, но удобный. Сейчас в нём будет моя тетрадь.

Если её найдут — хорошо. Если нет — ну и ладно.

Третье сентября две тысячи тридцать пятого года, восемь часов вечера.

Павел Сечёный, бывший учитель истории. Доносчик. Иуда.

Глава 2

СУД

Дело № 7

За Павлом Дмитриевичем Сечёным пришли девятого сентября две тысячи тридцать пятого года, в шесть часов утра. Он не сопротивлялся. Он был одет — он не раздевался уже два дня, ждал. Когда четверо в форме вошли в его комнату, он встал и сказал: «Я готов».

Один из четверых сказал: «Возьмите вещи».

Павел Сечёный взял маленькую сумку, которую заранее собрал. В сумке было — смена белья, бритва, фотография матери, кусок хлеба. Тетрадь он не взял. Тетрадь осталась под половицей. Тетрадь не нашли.

Тетрадь нашли потом, через семь месяцев, когда в коммуналку вселился новый жилец и начал ремонт. Жилец сдал тетрадь в милицию. Из милиции тетрадь попала в МВД. Из МВД — в архив программы «Архив».

Алёнке Орловой тетрадь не отдали. Алёнку Орлову нашли в детском доме номер четырнадцать, в городе Можайск. К моменту, когда тетрадь была обнаружена, Алёнки уже не было в живых. Она умерла в декабре две тысячи тридцать пятого года от воспаления лёгких.

* * *

Суд над Сечёным состоялся одиннадцатого сентября в Бутырском районном суде города Москвы. Процесс был открытым и транслировался по двум центральным каналам, а также по сетям всех союзных республик. Аудитория, по оценкам, составила сорок шесть миллионов человек.

Прокурор зачитала обвинение в течение тридцати восьми минут. Подсудимый обвинялся в систематической организации доносительства, повлёкшей за собой смерть восьми человек (из тех четырнадцати, что были арестованы по последнему его докладу, восемь были расстреляны в августе того же года, остальные шесть — направлены в трудовые лагеря). Кроме того — в моральном разложении общественной ткани, в подрыве доверия между гражданами, в злоупотреблении положением сотрудника органов внутренних дел.

Это была формула. Реальная функция процесса — другая. Прокурор сама это потом признала, в частной беседе с одним из коллег: «Мы решили показать стране новую систему на своём, чтобы не раскачивать общество».

* * *

Сечёный держался в зале спокойно. Он не плакал. Не оправдывался. На все вопросы прокурора отвечал коротко — «да» или «нет», или «не помню».

Один раз председательствующий судья спросил его: «Подсудимый, вы признаёте свою вину?»

Сечёный встал. Подумал.

Сказал: «Да. Признаю».

Председательствующий сказал: «А раскаиваетесь?»

Сечёный сказал: «Это слишком сложный вопрос для меня».

В зале засмеялись.

Председательствующий не засмеялся.

* * *

Приговор был вынесен пятнадцатого сентября в семнадцать часов сорок минут.

Подсудимый Сечёный Павел Дмитриевич признан виновным во всех пунктах обвинения. Мера наказания — высшая. Способ исполнения — перенос сознания в соответствии со статьёй три закона о государственной программе обеспечения справедливости от двадцатого июня две тысячи тридцать пятого года.

Сечёный — первый официально приговорённый по новой системе.

Когда оглашали приговор, Сечёный стоял прямо. Он не сел. Он смотрел поверх голов, в стену.

После оглашения, когда его выводили из зала, в коридоре суда он остановился. Старший конвоя спросил: «Что?»

Сечёный сказал: «Можно вопрос?»

Конвоир пожал плечами.

Сечёный сказал: «Меня перед... перед этим. Будет какая-нибудь процедура? Что-нибудь? Что я могу попросить?»

Конвоир сказал: «Стандартно — последнее слово в институте. Перед сканированием. Десять минут».

Сечёный кивнул.

Институт

Павла Сечёного доставили в Институт прикладной нейроинформатики имени Бехтерева семнадцатого сентября в одиннадцать утра. Машина въехала во двор корпуса «Б», его провели через служебный вход. По коридорам он шёл сам, без сопровождения. Конвой остался у входа.

В подвале корпуса «Б», в блоке три, его ждали.

Это был тот же блок, в котором за полтора года до этого лежал Аркадий Воронин. Капсула стояла та же — её обновили, конечно, поменяли некоторые компоненты, но конструктивно — та же. Белые стены. Матовый потолок. Кабели, уходящие в стены.

В комнате наблюдения находились трое — инженер Гольцев, программист Симакова и человек, которого Сечёный не знал.

Этим человеком был академик Лев Аркадьевич Городецкий.

* * *

Городецкий не часто присутствовал на переносах. С тех пор как программа стала государственной, переносы шли регулярно. За полтора года вместе с Ворониным набралось ровно шестьдесят: сам Воронин, четыре экспериментальных случая и пятьдесят пять исполнений по приговорам военных трибуналов. Городецкий на эти переносы не ходил. Не хотел.

На сегодняшнем он был. Потому что Сечёный был особенный — первый по новой публичной системе. Первый, по которому будет отчёт перед Политбюро. Лично перед генеральным секретарём.

Городецкий пришёл в десять. Прочитал документы. Посмотрел плёнку с записью суда — её привезли из телецентра специально для него. На плёнке он увидел Сечёного, отвечающего «не помню», и пожилого судью, и зал. Он посмотрел внимательно. Сечёный показался ему — он искал слово — обыкновенным. Не злодеем, не героем, не жертвой. Просто человеком сорока пяти лет, бывшим учителем.

Он подписал акт о приёме приговорённого. На бумаге появилась его подпись: «Городецкий Л. А.». Это был третий раз за неделю, когда он подписывал такой акт — у них шла серия. Эта подпись ничем не отличалась от других.

Но Сечёный был — другой. Сечёный был первый из новых.

* * *

Городецкий вошёл в блок три за десять минут до начала процедуры.

Сечёный лежал в капсуле — ещё открытой, ещё без проводов. На нём был стандартный медицинский халат. Тонкий, белый, безразличный.

Городецкий подошёл и встал у капсулы. Сечёный посмотрел на него. У Сечёного были спокойные глаза. Очень спокойные.

Городецкий сказал: «Меня зовут Лев Аркадьевич Городецкий. Я разработчик программы».

Сечёный сказал: «Я понял».

Городецкий сказал: «Согласно процедуре, перед переносом приговорённому положены десять минут на последнее слово. Это слово записывается и приобщается к делу. Вы хотите его сказать?»

Сечёный долго молчал.

Потом сказал: «Лев Аркадьевич».

Городецкий ждал.

Сечёный сказал: «Хочу спросить вас одну вещь. Не для записи. Для себя».

Городецкий кивнул.

Сечёный сказал: «Туда, куда я иду. Там есть... что? Хоть что-нибудь? Воспоминания? Или — другие люди? Или это я буду один?»

Городецкий помолчал.

Это был не первый раз, когда ему задавали такой вопрос. Воронин его не задавал — Воронин был первый, он не знал. Но потом, в последующих случаях, многие спрашивали. Городецкий научился отвечать. Обычно он говорил: «Это закрытая информация».

Сечёному он не сказал этого.

Городецкий сказал: «У вас будет персональная среда. Она зависит от приговора. Я не могу детально описать её — у нас разные категории. Я могу сказать только: вы будете там собой. Вы будете осознавать. Это не сон. Это не забытьё».

Сечёный кивнул.

Сказал: «Один?»

Городецкий хотел сказать — «да». Это было бы правдой. Среды у них были индивидуальные — каждая копия в своей. Они не пересекались. Технически это было возможно, но в текущей версии программы — не реализовано. Это был принципиальный выбор: индивидуальный ад страшнее коллективного. Каплан, философ, настаивал на этом.

Городецкий сказал: «Один».

Сечёный закрыл глаза.

Потом снова открыл и сказал: «Лев Аркадьевич».

Городецкий ждал.

Сечёный сказал: «Вы знаете, что вы делаете? Я только сейчас, лёжа здесь, понял, что вы делаете. Долго не понимал, а сейчас понял. Хочу убедиться, что вы тоже понимаете».

Городецкий не ответил.

Сечёный сказал: «Вы — создаёте Бога».

Городецкий сказал: «Это говорят. Я слышал».

Сечёный сказал: «Слышали, наверное, в положительном ключе. А я говорю — в отрицательном. Бог, которого вы создаёте, не будет добрым. Не будет справедливым. Он будет таким, каким вы его сделаете. А вы — обыкновенный человек, Лев Аркадьевич. Смотрю на ваше лицо и вижу обыкновенного человека. Усталого. Я был таким же. Учил детей истории и был обыкновенным. А потом предал и стал тем, кем стал. Понимаете?»

Городецкий слушал.

Сечёный сказал: «Бог должен быть либо абсолютным, либо никаким. Никакой Бог — это атеизм, пустота, в ней нельзя жить. Абсолютный Бог — это любовь и страх, прощение, и в нём можно жить. А Бог, сделанный обыкновенным усталым человеком, — самый страшный, потому что он наследует все наши плохие черты и при этом абсолютно властен. Это больше чем ад».

Городецкий молчал.

Сечёный долго смотрел на него. Потом сказал: «Извините. Говорил долго. Десяти минут, наверное, нет уже?»

Городецкий взглянул на часы. Прошло — семь.

Он сказал: «Есть ещё».

Сечёный сказал: «Тогда — последняя просьба. У меня была знакомая девочка. Алёнка Орлова, шесть лет. Из коммуналки, где я жил. Я её подкармливал. Она в детском доме сейчас, в Можайске. Если можно — пусть ей передадут немного денег. Не от меня — анонимно. Из казённых средств. Я знаю, что это можно устроить».

Городецкий сказал: «Я узнаю».

Сечёный сказал: «Спасибо. Это всё».

* * *

Городецкий вышел из блока. Поднялся в свой кабинет. Сел за стол.

Подумал.

Поднял трубку. Позвонил в архив МВД. Узнал — Алёнка Орлова из детского дома номер четырнадцать, Можайск.

Через минуту перезвонили. Сказали: «Скончалась пятнадцатого декабря две тысячи тридцать пятого года от двусторонней пневмонии. Похоронена на районном кладбище».

Городецкий положил трубку.

Внизу, в подвале, как раз начинали перенос. На главном экране в комнате наблюдения индикатор пополз слева направо. Шестидесят первый перенос. Сечёный Павел Дмитриевич, сорока пяти лет.

Городецкий не пошёл смотреть.

Он не стал звонить вниз и говорить про Алёнку. Не стал просить, чтобы Сечёному сказали. Это было бы — что? Излишество. Жестокость. Милосердие. Городецкий не разобрал.

Сечёный ушёл туда с верой, что Алёнка жива.

Этой верой ему предстояло жить, может быть, очень долго.

Глава 3

КЛАСС

Первый день

Открыл глаза.

Стоял посреди класса. Это был мой класс — школа номер двести четырнадцать, кабинет истории, второй этаж, окна на восток. Знал этот класс восемнадцать лет. Помнил каждую трещину на доске, каждое пятно на линолеуме, каждую парту.

Это был мой класс. Только что-то с ним было не так.

Сразу не понял, что именно. Стоял у доски, держа в руке кусок мела. На доске было что-то написано — моей рукой, видно. Посмотрел: «Тема урока: причины распада Римской империи». Эту тему давал в пятом классе, в первой четверти, каждый год. Стандартная тема.

За партами сидели дети.

Двадцать восемь детей. Это нормальное количество для одного класса. Они были разного возраста — кто-то лет восьми, кто-то лет тринадцати. Сначала это меня удивило, потому что обычно в одном классе сидят дети одного возраста. Но потом увидел — и понял.

Увидел Алёнку Орлову.

Она сидела за второй партой у окна. Маленькая, в платье — в том самом голубом платье, в котором видел её в апреле, когда она пришла ко мне за хлебом. Она смотрела на меня.

Увидел Леонида — старшего брата Орлова. Леонид сидел за последней партой, у двери. В той же одежде, в которой я его помнил живым, до ареста.

Увидел Анну Орлову, жену Орлова, — она сидела за третьей партой, второй ряд. Не как ученица, как взрослая — но за партой. С тетрадью.

Увидел Звягинцева-отца. Звягинцева-сына. Бабку Тимофееву — она была одна из старших, ей было лет восемьдесят, но она сидела за партой, как все. Григория с сухой ногой. Молодого человека из соседнего подъезда — да, того, чьего имени я не знал. Шесть человек из соседних домов, которых указал в отчёте.

Начал считать.

Насчитал двадцать два человека. Это были все, кого я сдал. Плюс четверо, о которых просто упоминал в отчёте: учитель, про которого написал со слов Алёны ещё в апреле тридцать пятого; Иван из второй комнаты, который ходил ночью, — доложил о нём в мае, и его

арестовали тогда же, узнал потом; двое из второй коммуналки нашего дома, которые говорили о чём-то во дворе.

Двадцать шесть.

Я сдал двадцать шесть.

Двадцать восемь сидели за партами.

Посчитал снова, медленно. Двадцать восемь.

Смотрел и не понимал, кто эти двое лишних.

* * *

Подошёл к первой парте. За первой партой сидел мальчик лет десяти. Не узнавал его. Не помнил никого такого. Лицо у него было обыкновенное — русые волосы, веснушки, голубые глаза. Глаза прозрачные, как у Алёнки когда-то была кожа.

Спросил: «Кто ты?»

Мальчик посмотрел на меня.

Сказал: «Митя».

Спросил: «Митя — а дальше?»

Мальчик сказал: «Митя — двоюродный брат Алёны. К ним в гости приезжал. Из Тулы».

Я молчал.

Никогда не слышал про двоюродного брата Алёны из Тулы.

Мальчик сказал: «Тебе мама про меня говорила. Алёна. Помнишь? Она тебе летом рассказывала. Я приехал в августе. Меня дядя Лёня и тётя Аня собирались вывезти из города. Они вывозили детей. Это была одна из задач группы».

Я молчал.

Мальчик сказал: «Когда тётю Аню арестовали, меня тоже забрали. Меня отдали в спецприёмник, не в детдом. Я там умер через две недели — у меня был порок сердца, я не выдержал».

Смотрел на него.

Хотел сказать: «Это не я, я тебя не знал, я не сдавал тебя». Но понимал — я сдал Анну Орлову. Анну забрали. Если бы не сдал Анну, мальчика бы вывезли. И мальчик бы жил. Может быть.

«Я косвенно тебя убил», — подумал я.

Мальчик сказал: «Ты косвенно меня убил».

Отступил от парты.

* * *

За соседней партой сидела женщина. Лет тридцати, в халате. На халате — пятно от какой-то еды, тёмное.

Спросил: «А вы кто?»

Женщина сказала: «Я — Вера. Жена Колесникова из шестого подъезда».

Колесникова лично не знал. Но фамилию узнал. Видел её в одном из своих июльских отчётов — мне дали задачу собрать данные о торговцах продуктами на чёрном рынке, и я записал слухи про шестой подъезд.

Сказал: «Я же вашего мужа?..»

Она сказала: «Меня тоже, но не прямо. Косвенно. Вы внесли мужа в список. Список передали другим. Мужа арестовали в августе, расстреляли в сентябре. Я была беременна. После расстрела заболела. Через два месяца умерла. Ребёнок не родился».

Сказал: «Я не знал, что вы есть».

Она сказала: «Я знаю. Поэтому сижу за второй партой, а не за первой. Я косвенно. Митя — тоже косвенно. Мы — двое из двадцати восьми, кого вы не знали, что убиваете. Остальные двадцать шесть знали».

Отошёл от парты.

* * *

Подошёл к доске. Кусок мела был в моей руке. Почему-то его не выпустил.

Повернулся к классу.

Двадцать восемь пар глаз смотрели на меня.

Они не моргали.

Смотрел внимательно. Ждал — секунду, две, пять, десять. Никто не моргнул.

Подумал: «Сейчас», и сам моргнул, чтобы проверить. Но они продолжали смотреть.

Понял: они не будут моргать. Никогда. Это часть устройства.

Хотел сесть, но в классе было всего двадцать восемь парт, и все были заняты. Учительского стола не было.

Хотел уйти, но дверь была закрыта.

Подошёл к двери. Потянул. Не открылась. Подёргал ручку. Ручка крутилась без сопротивления, как сломанная. Дверь не открывалась.

Подошёл к окну. За окном был школьный двор. Знакомый — асфальт, турники, скамейки. На скамейках никого. На асфальте никого. Двор пустой. И что-то с ним было не так.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.